

Н. А. СЕМЕНОВА

Беларусский Государственный Университет

ДИСКУСР ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Создание нового аналитического языка было связано с заимствованием в начале 1990-х – в рамках изменяющегося институционального и политического контекста – в русский язык, а также в другие языки постсоветского пространства термина «гендер» как ключевого означающего иного дискурса. Впервые, как установила недавно исследовательница из Новосибирска Татьяна Барчунова, он был употреблен философом Ольгой Ворониной в начале 1990-х: именно из московского (кон)текста – а не из англоязычных изданий, к которым у большинства не было доступа, – он был впоследствии перенесен и стал общепринятым.

Ключевые слова: гендерные исследования, пост социалистический феминизм, различие

DISCOURSE OF GENDER STUDIES

Abstract

The creation of a new analytical language was associated with the borrowing in the early 1990s, within the changing institutional and political context, into the Russian language, as well as into other languages of the post-Soviet space, the term “gender” as a key meaning for another discourse. For the first time, as recently discovered by a researcher from Novosibirsk, Tatyana Barchunova, it was used by the philosopher Olga Voronina in the early 1990s: it was from the Moscow (con) text - and not from English-language publications that most did not have access to - that was subsequently transferred and became generally accepted.

Keywords: gender studies, postsocialist feminism, difference

Трансформации, анализ которых дает возможность использовать в отношении постсоветских гендерных и феминистских исследований метафору «остранения». Как известно, это понятие, введенное в 1910-х формалистом Виктором Шкловским, означает превращение вещей из привычных в «странные» посредством извлечения их из привычного контекста, что позволяет посмотреть на них заново. «Извлечение» гендерной теории из западных условий ее создания и функционирования и приложение в качестве аналитического инструмента к постсоветской ситуации – что и произошло в рассматриваемый период – позволяет проявить некоторые черты постсоветского транзита. Однако, и это не менее, а, возможно, и более важно, оказалось, что пертурбации происходят и с самой гендерной теорией, на основании чего можно сделать некоторые предположения относительно природы этого аналитического инструмента. Эти предположения представляют интерес, выходящий за региональные рамки.

Институализация в минском ЕГУ Центра гендерных исследований, открывавшая возможность преподавания новых дисциплин, проведения исследований, конференций и семинаров, издания книг соответствующей тематики и, в перспективе, изменения академического и общественного контекста, казалась тем, кто были к этому причастны, событием значимым и даже посягающим на

«основы миропорядка». Вместе с тем это событие было «рядовым» в том смысле, что стояло в ряду подобных. В это же десятилетие исследовательские и (часто одновременно активистские) центры, ориентированные на гендерную проблематику, были заявлены сначала в Москве, а позднее Петербурге, Харькове, Алматы и в том или ином виде в других местах, что явилось следствием, если пользоваться языком политической теории, постсоветской «структуры возможностей». Одной из причин ее появления стало возникновение новых государств и превращение прежде периферийных городов в национальные столицы, с которыми международные фонды и дипломатические миссии работали напрямую, а не через прежний «центр», что создавало невиданные прежде возможности для местных элит. Кроме того, стремясь способствовать продвижению «западного знания» – в условиях делигитимации знания советского, – международные организации способствовали созданию новых университетов и учебных программ и, в частности, сделали поддержку гендерных исследований одним из своих приоритетов.

Однако ресурсная мобилизация, возникающая за счет складывания сетей коммуникации, доступности интеллектуальных ресурсов и так далее, – что, как считают некоторые исследователи, и имело место в случае постсоветского женского движения (Spertling 1999) – не может быть осуществлена, если не опирается на внутренние причины. Для образованных женщин моей поколенческой когорты создание «языка» для обсуждения нашего места в окружающем мире являлось личным проектом не в меньшей степени, чем академической задачей. В его основании лежала интенсивная (само)рефлексия, спровоцированная тем огромным социальным сдвигом, участницами которого мы оказались и который обострил социальную чувствительность. В некоторых случаях интенсивность рефлексивной критики достигала точки «деконструкции» самих себя – как субъектов, встроенных в классификационные схемы, т.е. созданных, если следовать терминологии Л. Альтюссера, в процессе «интерполяции» идеологическими институтами своего места и времени. Нам могло казаться (и вначале оно так и было), что понимание властной конфигурации и осознание своего места в ней было равносильно высвобождению из навязанных схем, реализацией собственного, свободного выбора, тем более что вокруг говорили о свободной личности, выборе, равных возможностях и других либеральных ценностях. Как стало понятно со временем, высвобождение из

старых схем означает одновременное встраивание в новые классификации: однако если они создаются при нашем участии, то поначалу не осознаются как дисциплинирующие.

Будучи молодыми образованными женщинами «догендерного» периода, мы обдумывали себя в терминах и понятиях известной нам социальной теории и популярных нарративов, где господствовала точка зрения, что суть «женского вопроса» состоит в социальном обеспечении материнства. Философское и социологическое осмысление телесности как категории, лежащей в основании социальной организации полового различия (т.е. первичного социального разделения во всех обществах), интерпретации ее в контекстах отношений власти, социальной стратификации и организации институтов, порождения желания, создания классифицирующих оснований восприятия мира и конструирования «я», было редуцировано до отсыла к особой «женской психологии». Эта идеологизированная субстанция включала эмоциональность, нелогичность, сосредоточенность на конкретном в противовес общему и абстрактному (мужскому), что проистекало, согласно господствовавшей точке зрения, из женской репродуктивной функции. Испытывая в условиях подобной идеологической гегемонии проблемы, связанные с непризнанием женской независимой субъектности и человеческой полноценности, мы не знали языка, чтобы их назвать, описать и осмыслить. Не имея названия, эти проблемы «не существовали», однако в то время работа Гайатри Спивак «Могут ли угнетенные говорить?» (Спивак 2001) не была нам известна.

Создание нового аналитического языка было связано с заимствованием в начале 1990-х – в рамках изменяющегося институционального и политического контекста – в русский язык, а также в другие языки постсоветского пространства термина «гендер» как ключевого означающего иного дискурса. Впервые, как установила недавно исследовательница из Новосибирска Татьяна Барчунова, он был употреблен философом Ольгой Ворониной в начале 1990-х: именно из московского (кон)текста – а не из англоязычных изданий, к которым у большинства не было доступа, – он был впоследствии перенесен и стал общепринятым. Однако за заимствованием термина встают проблемы кросс-культурного перевода и освоения той концептуальной парадигмы, к которой принадлежит новое слово (Ушакин 2007):

первыми о задачах «феминистского перевода» в процессе переноса знания написали петербургские исследовательницы Елена Здравомыслова и Анна Темкина в прекрасном предисловии к составленной ими «Хрестоматии феминистских текстов» (Здравомыслова, Темкина 2000). Какое-то время пользуясь термином «гендер», многие не могли дать ему полноценное определение¹ : для этого необходимо было перевести, прочесть и начать обсуждать «основополагающие тексты» феминистской теории. В 1990-х эта задача казалась очень важной, и первой подготовленной в ЦГИ книгой «в твердой обложке» стала «Антология гендерной теории» (2000), содержащая как переводы программных текстов Андреа Дворкин, Анджелы Дэвис, Лауры Мальви, Розалинд Печерски и других, так и наши собственные вводные комментарии к ним.

Поначалу участвовавшим в проекте создания нового символического мира казалось, что термин «гендер» обладал огромной объяснительной силой, так как позволял обозначить то, для чего ранее не было названия, структурировать личный опыт и, таким образом, «упорядочить» окружающую реальность. Он давал ответ на многие личные вопросы, т.е. становился ключевым для новых политик идентичности. Однако, как указывал Т. Адорно, идентичность является первичной формой идеологии, хотя освобождающиеся от гегемонии прежнего языка обычно не замечают работы новой дискурсивной власти, авторизацию и персонализацию которой осуществляют они сами. Новый термин, разрушая одни классифицирующие основания и выстраивая новую гегемонию (что есть свойство языкового означивания в принципе), вводил категории, «изобретенные» в другом обществе и времени. Для того раннего постсоветского периода, когда отношения между властью и знанием изменялись очень интенсивно, была характерна готовность принимать заимствованные теории и непосредственно прикладывать их к локальным контекстам. Таким образом, ключевым «объяснением» гендерных трансформаций постсоветского периода стал универсальный «патриархат» (власть мужчин), и если многие исследователи отмечали начавшийся «подъем» маскулинности, глорификацию и героизацию мужского начала, появление «сильного» (а чаще богатого, что стало синонимом власти) мужчины одновременно с переструктурированием отношений власти, то трактовали это как проявление цивилизационной отсталости и общего провала социализма. Советские достижения в

сфере гендерного равенства отвергались, и гендерные исследования регулярно становились одним из способов критики социализма². Таким образом, «женский вопрос», встроенный в повестку дня либерализации, стал непосредственно политическим: гендерные проблемы всегда включены в глобальные противостояния. Однако при более внимательном рассмотрении постсоветского «восстания патриархата», как называли этот процесс в некоторых работах, становились очевидными новые, «несоциалистические» тенденции. Прежде всего к ним можно отнести связь во всем регионе «нового патриархата» с социально консервативными национализмами. Даже если постсоветские национальные государства появлялись вследствие раскола территории по когда-то (и часто волонтаристски) проведенным административным границам, новые элиты оказывались перед необходимостью оформления национальных исторических нарративов, конструирования государственных мифов и легитимации культурных различий. В инструментарий нациостроительства включалось традиционалистское переизобретение мужественности и женственности, символическая сексуализация межнациональных отношений как отношений власти/подчинения, «изобретение» «национальных» поведенческих практик и использование их в качестве демаркационных символов для означивания территорий и сообществ и в целом ведения «переговоров» о национальном включении и исключении, модернизации, колонизации и пр. Важно при этом, что новые элиты не всегда были националистическими, но создание национальных государств регулярно использовалось для легитимации перехода к рынку и новой экономической дифференциации (см.: Пазняк 1992). Таким образом, к исследованию гендерных отношений с необходимостью подключалась вторая линия, связанная с воздействием неолиберальных тенденций, классовообразованием, перестройкой рынка занятости и социальной защиты. Наибольшую трудность для исследователей в этом случае представляло понятие «класс», скомпрометированное ходульным вариантом советского марксизма.

Традиционно «класс» связывался с экономическим неравенством, однако классовая теория эпохи постиндустриального общества включает в свой арсенал социальные разделения, привилегии, способы доминирования и исключения, основанные на сложном взаимодействии экономических и не-экономических капиталов. Как организующий концепт, включающий широкий круг феноменов,

связанных с неравенством и дифференциацией, классовое разделение, формируемое на основании устойчивых способов получения дохода, может осуществляться посредством культуры, стиля жизни и вкуса. Глобальный капитализм переопределяет граждан как потребителей, которые демонстрируют различные габитусы и стили жизни и, таким образом, именно через потребление – социальные идеалы и политические пристрастия. Этот классовый контекст важен для понимания некоторых черт постсоветского феминизма. К настоящему моменту «гендер» и феминизм приобрели видимость и даже популярность: их обсуждают в социальных сетях, о них пишут глянцевого журналы; публичные интеллектуалы и медиафигуры предлагают собственные интерпретации гендерных отношений; аборт и сексуальность обсуждаются в парламентах; на первомайские демонстрации наряду с представителями других угнетенных выходят феминистские и ЛГБТ-группы (что становится предметом обсуждения в среде левых активистов), а правые политики во многих странах Восточной Европы предлагают «запретить гендер» (или, по крайней мере, убрать из обихода это слово) на том основании, что он противоречит национальным традициям, ведет к размыванию моральных норм и деградации общества (Peto 2016).

Все это – важные культурные свидетельства, которые позволяют рассматривать постсоветский феминистский активизм как «новое социальное движение». Этим термином принято обозначать коллективные движения, которые были порождены в конце 1960-х структурными и культурными трансформациями развитых капиталистических обществ и которые сосредотачивались на молодежных, экологических, женских, этнических и других «неэкономических» проблемах. Одной из целей новых женских движений является артикуляция различия, признание «инаковости», вызов культурным кодам и общему символическому порядку, которые, в частности, демонстрируются посредством потребления и образа жизни (Melucci 1996). Представляется, что именно здесь феминистская повестка дня, связанная с переходом, если пользоваться терминами Нэнси Фрейзер, от борьбы за «распределение», которая была характерна для движений эпохи промышленного капитализма (и социализма), к современной борьбе за «признание» (некоторой идентичности, отличия, достоинства, независимой субъектности и т.д.) (Fraser 1998, 2000), может оказаться на постсоветском пространстве проблематичной. Причина

лежит в другом социальном контексте, в рамках которого начали озвучиваться на постсоветском пространстве гендерные проблемы. Разъясню высказанную догадку.

Западный феминизм второй волны, связанный с выходом значительного количества образованных женщин на рынок труда, возникает в тот особый период, когда на Западе (в течение приблизительно пятнадцати лет) происходило, по ряду причин, значительное сокращение разрыва между богатыми и бедными³. Таким образом, феминистские, молодежные и другие новые социальные движения, сосредоточенные на политиках идентичности (и нередко осуществляющие при этом критику капитализма), оказывались в русле общедемократических преобразований. В условиях объективного уменьшения бедности они работали на «включение» (empowering) различных ранее исключенных групп: цветных, женщин, молодежи, геев, инвалидов и других категорий. Социальная история постсоветского феминистского активизма и гендерных исследований отличается кардинально: они возникают именно в тот период, когда в обществе происходит экономическая либерализация, разложение «родового строя» социалистического равенства, свертывание социальных программ, формирование классового неравенства (в традиционном экономическом смысле) и, по крайней мере в первое десятилетие, критическое ограничение средств к существованию миллионов людей. Одновременно с этим реформируется гендерный порядок, возникает «буржуазный идеал» (с мужчиной-кормильцем или «спонсором»), непосредственная товаризация женской (и, реже, мужской) сексуальности, «силовое предпринимательство» (термин В. Волкова) как мужская практика, маскулинизация экономического успеха. В условиях рынка льготы для работающих матерей маркируют женщин как «непроизводительных»: критические изменения, происходящие непосредственно в сфере распределения, «ставят под вопрос» ранее бесспорные оплаченный декретный отпуск и детский сад (например, Стрельник 2017)⁴. В этих условиях феминизм, сосредотачиваясь на различии и идентичности в обществе, где возрастает экономическое неравенство, включающее и женщин, и мужчин, может отвергаться как связанный с потреблением и стилем жизни, т.е. смещающий фокус социальных противостояний. В каком-то смысле «гендер» (вместе с некоторыми другими категориями) стал видеться одним из идеологических прикрытий экономического

передела, едва ли не новой формой угнетения (например, Минченя, Сасункевич 2012).

Собственно, феминистские теоретики уже некоторое время говорят о том, что в определенных обстоятельствах феминизм может работать «на руку» конструированию неравенства. Например, Чандра Моханти, автор классического текста «Под западным взглядом» (Mohanty 1984), посвященного ориентализации и экзотизации женщин третьего мира при включении их опыта в западные феминистские теории, опубликовала в продолжение этой статьи свою новую работу. Она пишет о том, что (евроцентрические) феминистские теории в условиях нарастающей глобализации могут способствовать (дискурсивной) колонизации глобального Юга, смещая внимание с проблем социального неравенства на «локальность» и местную культуру (Mohanty 2013). Американская исследовательница Кристин Годси, занимающаяся женской историей балканских стран, критически анализирует гегемонию западного феминизма уже в постсоциалистическом регионе. Анализируя роль культурного феминизма и проектов западной помощи, стремившихся перестроить социалистические общества после 1989 г., Годси отмечает игнорирование ими неоднозначного социалистического наследия и указывает, что «тот особый вариант культурного феминизма, который был экспортирован в Восточную Европу (и многие местные НПО усвоили именно эту идеологию), может идти в ногу с продвижением неолиберализма, собственно, и ответственного за то снижение уровня жизни, благодаря которому западные феминистки получили “мандат” на оказание помощи восточноевропейским женщинам» (Ghodsee 2004). И, наконец, социальная теоретик Нэнси Фрейзер продолжает говорить о том, что современная феминистская теория может становиться «служанкой империализма», если не происходит ее критической переработки. Таким образом, авторы, пишущие о «глобальном Юге», постсоциалистическом пространстве и западном мире, высказывают сходные предостережения: существуют условия, при которых феминистская теория может способствовать формированию новых видов доминирования и эксплуатации. В условиях «гибкого капитализма» и товаризации протеста, в принципе, любая радикальная теория может стать товаром, престижным элементом элитистского ландшафта. В конце концов, возникновение на нашем пространстве, в том числе в

беларусских независимых СМИ, дискуссий о насилии, домогательствах, женских образах в рекламе, сексуальности, способах языкового означивания женского и т.д., т.е. борьба за женскую человеческую автономию, связано с появлением в крупных городах «нового класса», включенного в глобальный медиарынок и экономику знания. Но если это так, а целью является создание более справедливого общества для всех, в каких именно категориях должен быть сформулирован постсоветский «женский вопрос»?

Изложенные выше рассуждения отражают значительную часть тех идей, сомнений, находок, разочарований, дискуссий, которые проживали в течение двадцати лет люди, делавшие Центр гендерных исследований ЕГУ: Альмира Усманова, Ирина Дунаева, Елена Мельникова, Снежана Рогач, Александр Першай, Инна Хатковская, Елена Хлопцева, Наталья Щербина, Евгения Иванова, Надежда Гусаковская, Лина Казакова, Елена Минченя, Ольга Сасункевич, Анна Шадрина.

Литература

Здравомыслова, Е., 2000. Темкина, А. Введение. Феминистский перевод: текст, автор, дискурс. В: Хрестоматия феминистских текстов. Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: Дмитрий Буланин, С. 5–28.

Минченя, Е., Сасункевич, О. 2012. Белорусский феминизм в постмарксистской перспективе. Прасвет, [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://prasvet.com/984>

Пазняк, З. 1992. Пра імперыю і ўласнасць. В: Пазняк, З. Сапраўднае аблічча. Мінск: Паліфакт

Спивак, Г. 2001. Могут ли угнетенные говорить? В: Введение в гендерные исследования. Ч. 2. Хрестоматия. Под ред. С. Жеребкина. СПб.: Алетейя, С. 649–670.

Стрельник, О. 2017. Турбота як робота: материнство у фокусі соціології. Київ: Критика

Ушакин, С. 2007. Пол как идеологический продукт: о некоторых направлениях в российском феминизме. В: Ушакин, С. Поле пола. Вильнюс: ЕГУ, С. 94–110.

Fraser, N. 1998. Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition and Participation. The Tanner Lectures on Human Values. G.B. Peterson (ed.). Salt Lake City, V. 19. P. 1–67.

Fraser, N. 2000. Rethinking Recognition. *New Left Review*. (3). P. 107–120.

Ghodsee, K. 2004. Feminism-by-Design: Emerging Capitalisms, Cultural Feminism and Women's Nongovernmental Organizations in Post-Socialist Eastern Europe. *Signs*. V. 29(3).

Melucci, A. 1996. *Challenging Codes: Collective Action in the Information Age*. New York: Cambridge University Press

Mohanty, Ch. 1984. «Under Western Eyes». *Feminist Scholarship and Colonial Discourses*. *Boundary*. 2. Vol. 12 (3). P. 333–358.

Mohanty, Ch. 2013. *Transnational Feminist Crossings: On Neoliberalism and Radical Critique*. *Signs*. Vol. 38 (4). P. 967–991.

Peto, A. 2016. How Anti-gender Movements are Changing Women's Studies as a Profession? *Religion and Gender*. V. 6(2).

Sperling, V. 1999. *Organizing Women in contemporary Russia: Engendering Transition*. Cambridge University Press.